



# УОЛТЕР ЛИППМАН

*ОБЩЕСТВЕННОЕ  
МНЕНИЕ*

*Книги, изменившие мир.  
Писатели, объединившие  
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я    К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Уолтер Липпман

# **Общественное мнение**

«Издательство АСТ»

1921

УДК 316  
ББК 60.5

**Липпман У.**

Общественное мнение / У. Липпман — «Издательство АСТ»,  
1921 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-158467-2

Уолтер Липпман (1889–1974) – американский писатель, журналист, социолог, общественно-политический деятель, дважды лауреат Пулитцеровской премии, автор теории общественного мнения и термина «холодная война». Работы Липпмана по влиянию пропаганды и СМИ на политический дискурс и общественное мнение внесли значительный вклад в современную политологию и теорию СМИ. В работе «Общественное мнение», написанной на основе всестороннего анализа американской прессы в период Первой мировой войны, Уолтер Липпман впервые сформулировал мысль о том, что свое представление об окружающем мире люди строят на основе мнений, транслируемых СМИ. Большая часть населения находится в плену стереотипов и живет в так называемой псевдосреде, сотканной из обрывков сведений, поставляемых СМИ. Сделав это открытие, Липпман настаивал на том, что общество должно проявлять больше критичности в своих оценках, а СМИ – сознавать свою ответственность перед гражданами. В противном случае весь мир рискует превратиться в одну большую иллюзию. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

УДК 316  
ББК 60.5

ISBN 978-5-17-158467-2

© Липпман У., 1921

© Издательство АСТ, 1921

## Содержание

Часть 1	7
1. Мир снаружи и картинки у нас в голове	7
Часть 2	20
2. Цензура и частная жизнь	20
Конец ознакомительного фрагмента.	25

## Уолтер Липпман

# Общественное мнение

*Посвящается Фэй Липпман*  
*Уэйдинг-Ривер, Лонг-Айленд*  
*1921 год*

— ...посмотри-ка: люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у каждого на ногах и на шее оковы, так что с места не двинуться, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову не могут из-за оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная невысокой стеной вроде той ширмы, за которой фокусники помещают помощников, когда поверх ширмы показывают кукол.

— Это я себе представляю.

— Так представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены; проносят и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат.

— Станный ты рисуешь образ и странных узников!

— Подобных нам. Ты думаешь, что, находясь в таком положении, люди что-нибудь видят, свое ли, чужое ли, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры?

— Как же им видеть что-то иное, если всю свою жизнь они вынуждены держать голову неподвижно?

— А предметы, которые проносят там, за стеной — разве не то же самое происходит и с ними?

— То есть?

— Если бы узники были в состоянии друг с другом беседовать, разве не считали бы они, что дают названия именно тому, что видят?

— Именно так.

*Платон. Государство. Книга седьмая<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Платон, Государство. Кн. VII / Собр. соч. в 3-х тт. Т. 3 (1). М., 1971. с. 514. / Перевод А.Н. Егунова.

## Часть 1

### Введение

#### 1. Мир снаружи и картинки у нас в голове

Есть в океане остров, на котором в 1914 году проживали англичане, французы и немцы. На острове не было связи, а британский почтовый пароход заходил в его гавань лишь раз в шестьдесят дней. В сентябре он еще не приплывал, и островитянам приходилось довольствоваться обсуждением новостей из последней газеты, где сообщалось о грядущем суде над мадам Кайо, застрелившей Гастона Кальметта. В середине сентября вся община собралась на пристани с большим, чем обычно, рвением, желая услышать от капитана, каков же был приговор. Вместо этого им сообщили, что уже более шести недель англичане и французы сражаются с немцами. Целых шесть недель представители разных национальностей вели себя как друзья, хотя формально к тому времени были уже врагами.

Но сложное положение, в котором оказались эти люди, не так уж отличалось от положения, в которое попала большая часть населения Европы. Островитяне ничего не знали шесть недель; на материке этот промежуток мог сократиться до шести дней или шести часов. Тем не менее был момент, когда картинка той Европы, в которой люди жили обычной жизнью, вступала в противоречие с картинкой Европы, в которой их жизнь вот-вот полетит в тартарары. Был момент, когда человек еще пытался найти свое место в мире, которого в действительности уже не было. Еще 25 июля люди производили товары, которые не смогут потом никуда доставить, покупали товары, которые не смогут ввезти из другой страны. Люди планировали карьеру, обдумывали проекты, питали надежды и строили прогнозы, думая, что прекрасно понимают устройство мира, в котором живут. А спустя чуть больше, чем четыре года, утром в четверг пришла новость о прекращении огня, и люди выдохнули, испытав невероятное облегчение оттого, что резня закончилась. Окончание войны уже успели отпраздновать, но до настоящего перемирия прошло еще пять дней, и за это время на полях сражений успело погибнуть несколько тысяч молодых людей.

Увы, мы весьма приблизительно понимаем действительность, в которой живем. Мы понимаем, что новости могут доходить до нас порой мгновенно, а порой с опозданием. При этом то, что мы искренне считаем правдивой картинкой, мы рассматриваем как самую действительность. В настоящее время мы редко думаем о том, как обманчива наша картина мира, зато с легкостью отмечаем, насколько абсурдным было представление людей о текущих событиях в другие времена и в других странах, и удивляемся, как можно было не замечать того, что сейчас кажется столь очевидным. Имея возможность оценить ситуацию в ретроспективе, сейчас мы ясно видим, что те два мира – один, который необходимо было разглядеть, и второй, который люди видели, – часто вступали в противоречие. А еще мы понимаем, что пока они правили и сражались, торговали и проводили реформы в мире, который они себе представляли, результаты (или их отсутствие) проявлялись в мире реальном. Они открыли Америку, хотя направлялись в Индию; вешали старух, полагая, что борются со злом. Люди считали, что могут богатеть, лишь продавая и ничего не покупая. Один халиф, повинувшись, по его мнению, воле Аллаха, сжег в Александрии целую библиотеку.

Примерно в 389 году святой Амвросий так изложил положение узника пещеры Платона, который решительно отказывается повернуть голову: «Обсуждение сути природы и расположения земли не подкрепляет наши надежды на будущую жизнь. Достаточно знать, что говорится в Писании: „Ни на чем Он повесил землю“ (Иов, 26: 7). Так к чему рассуждать, подвесил

ли Он землю или положил ее на воду, зачем затевать спор о том, как земля могла висеть в разреженном воздухе, или почему (если ее все-таки положили на воду) земля не опускается на дно?.. Незыблемость земли в пространстве неустойчивом и пустом обеспечивается не тем, что она находится в центре всего, как бы подвешенная в равновесии, а тем, что к этому ее принуждает воля Бога, сила Его величия»<sup>2</sup>.

Так к чему рассуждать? Достаточно знать, что говорится в Писании. Но спустя полтора столетия после святого Амвросия веру все еще подтачивали сомнения, на этот раз вызванные проблемой антиподов. Одному монаху по имени Козьма, известному своими научными знаниями, поручили написать «Христианскую топографию», или «Христианское видение мира»<sup>3</sup>. Он прекрасно понимал, чего от него ждут, поскольку выстроил все свои умозаключения на основе собственной трактовки Священного Писания. Оказывается, мир – это четырехугольник на плоскости, ширина которого с востока на запад вдвое больше, чем длина с севера на юг. В центре находится земля, а вокруг нее океан, который, в свою очередь, окружен другой землей, где люди жили до потопа. Именно на той, другой земле взошел на корабль Ной. На севере возвышается конусовидная гора, вокруг которой вращаются солнце и луна. Когда солнце заходит за гору, наступает ночь. Небо приклеено к внешней земле по краю, четыре высокие стены сходятся в центре, образуя купол, а земля служит вселенной ложем. На небе с другой стороны находится океан, являющий собой «воды, которые над твердью». Пространство между небесным океаном и высшим сводом вселенной принадлежит блаженным. А в пространстве между землей и небом живут ангелы. И, наконец, так как согласно святому Павлу, все люди созданы для «обитания по всему лицу земли»<sup>4</sup>, как могут они жить на его изнанке, где место антиподов? Имея перед глазами такой отрывок, христианин (как нам говорят) не должен «даже упоминать об Антиподах»<sup>5</sup>.

Еще меньше он должен стремиться к ним попасть. Ни один христианский правитель не должен давать корабль для подобного дела, и ни один благочестивый моряк не должен даже выказывать подобного желания. Никаких логических противоречий в своей карте Козьма не видел. Лишь памятуя об абсолютной убежденности автора в том, что именно такой и была карта вселенной, можно дорасти до понимания, какой страх на него навели бы Магеллан, или Пири, или летчик, который, пролетев на высоте семь миль над землей, рисковал наткнуться на ангелов и небесный свод. Точно так же в наше время не стоит удивляться остервенелости, с которой ведутся войны и политическая деятельность, ведь большинство каждой партии абсолютно верит в свое представление об оппозиции, памятуя, что за факт принимается не то, что есть на самом деле, а то, что *считается* фактом. И, как следствие, это большинство, подобно Гамлету, пронзит Полония, скрытого за шелохнувшейся занавеской, посчитав того королем, и, быть может, подобно Гамлету, добавит:

Ты, жалкий, суетливый шут, прощай! Я метил в высшего; прими свой жребий<sup>6</sup>;

Обычно великие люди демонстрируют публике только свои вымышленные личности. Есть все-таки крупица правды в старой поговорке: «нельзя быть героем в глазах собственного слуги». Впрочем, правды здесь действительно крупица, ибо и слуга, и личный секретарь часто сами с головой погружены в вымысел. Образчиком сконструированных личностей могут служить, без сомнения, королевские особы. Верят ли они сами в тот образ, который

<sup>2</sup> Нехаemeron, i. cap. 6. Цитата приводится по книге: *Taylor, H. O. The Mediaeval Mind. V. 1. P. 73. – Здесь и далее, за исключением отдельно оговоренных случаев, примеч. авт.*

<sup>3</sup> *Lecky, W.E.H. History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe. V. 1. P. 276–278.*

<sup>4</sup> Деяния апостолов 17:26. – *Примеч. пер.*

<sup>5</sup> *Lecky, W.E.H.* Там же.

<sup>6</sup> Здесь цитата приводится по: *Шекспир, У. Гамлет, принц датский / пер. М. Л. Лозинского. – Примеч. пер.*



создан на потребу публике, или просто позволяют своему камергеру его срежиссировать, у них существуют по крайней мере два отдельных «я»: официальное королевское «я» – и негласное, человеческое. Биографии великих людей легко делятся на истории об этих двух типах личностей. Официальный биограф восстанавливает жизнь первую, общественную, откровенные мемуары описывают вторую. Образ Линкольна в биографии лорда Чарнвуда, например, являет собой благородный портрет не реального человека, а преисполненной значимости легенды, которая в дальнейшем встает на ту же ступень реальности, что и защитник Трои Эней или святой Георгий. Выписанный Оливером Гамильтоном – это величественная абстракция, высеченная словом идея, «рассуждение», по словам самого автора, «об американском единстве». Едва ли это можно назвать биографией человека, скорее уж официальным памятником федерализма. Люди порой самостоятельно создают себе личину, считая при этом, что раскрывают нечто изнутри. Дневники Репингтона и Марго Асквит – своего рода автопортреты, в которых личные подробности лучше всего демонстрируют то, как авторы предпочитают думать о себе.

Однако самый интересный вид портретной характеристики тот, что непроизвольно возникает у людей в головах. Когда на трон взошла королева Виктория, по свидетельству Литтона Стрэчи, «среди граждан, сторонних наблюдателей, прокатилась волна энтузиазма. В моду вошли чувства и романтика, а зрелище проезжающей по столице своей страны королевы – скромной, невинной девочки со светлыми волосами и розовыми щечками – наполняло сердца зрителей восторгом умиления и преданности. Но прежде всего людей поразила ошеломительный контраст между королевой Викторией и ее дядями. Эти омерзительные старики, распутные и эгоистичные, как ослы упрямые и нелепые, погрязшие в вечном потоке долгов, паутины проблем и позора... исчезли как прошлогодний снег, и воцарилась, наконец, лучезарная весна»<sup>7</sup>.

Месье Жан де Пьерфе о поклонении героям знал не понаслышке, поскольку служил офицером в штабе Жозефа Жоффра в момент его величайшей славы:

«Целых два года весь мир воздавал ему должное, вознося до небес победителя сражения на Марне. Посыльный буквально сгибался под тяжестью ящиков, пакетов и писем, которые передавали совершенно незнакомые люди, исступленно желая засвидетельствовать свое восхищение. Мне кажется, что, за исключением генерала Жоффра, ни один полководец, будучи на войне, не имел представления, что такое настоящая слава. Ему присылали коробки конфет крупнейшие кондитеры мира, ящики шампанского, изысканные вина какого душе угодно урожая, фрукты, дичь, украшения, посуду, одежду, курительные принадлежности, письменные приборы, разнообразные пресс-папье. Из каждой местности присылали то, чем она славилась. Художник присылал картину, скульптор – статуэтку, милая старушка – вязаный шарф или носки, пастух, сидя в своей хижине, вырезал для него трубку. Враждебно настроенные к Германии страны отправляли ему свою лучшую продукцию: Гавана – сигары, Португалия – портвейн. Знал я парикмахера, который не придумал ничего лучше, как смастерить портрет генерала из волос дорогих ему людей. Похожая мысль пришла в голову и какому-то профессиональному писарю, но в его случае линии на картине состояли из прославляющих генерала тысяч маленьких фраз, написанных крошечными буквами. Письма, написанные разными почерками, на всевозможных языках, приходили со всего света. Письма душевные, благодарные, преисполненные любовью, полные обожания. Его называли спасителем мира, отцом нации, посланцем Бога и покровителем человечества. Не только французы, но и американцы, аргентинцы, австралийцы... Тысячи детишек, по собственной инициативе, самостоятельно, без ведома и помощи родителей, взяв перьевые ручки, писали ему, выражая свою любовь: большинство обращалось к генералу „отец наш“. Было что-то трогательное в их излияниях, во всеобщем обожании, в этих вырвавшихся из тысяч душ при победе над варварством вздохах облегчения. Всем наив-

<sup>7</sup> Strachey, L. Queen Victoria, p. 72.

ным юным сердцам Жоффр казался почти святым Георгием, сокрушившим дракона. В сознании человечества он, без сомнения, стал воплощением победы добра над злом, света над тьмой.

Безумцы, простаки, полностью сошедшие с ума или еще не совсем, обращали к нему свои затуманенные умы, будто взывая к самому разуму. Я читал письмо человека из Сиднея, который умолял генерала спасти его от врагов. Еще один, новозеландец, просил прислать пару солдат в дом джентльмена, задолжавшего десять фунтов и не желающего платить.

Наконец, несколько сотен молодых девушек, преодолевая присущую их полу робость, хотели выйти за него замуж, только чтобы об их просьбе не узнали семьи. А другие мечтали хотя бы прислуживать генералу»<sup>8</sup>.

Этот идеальный Жоффр был выкован из одержанной им победы, из штаба и войск, из отчаяния, что принесла война, из личных горестей и надежд на будущую победу. Однако кроме культа героев существует и изгнание бесов. Ровно тем же способом, каким рождаются герои, создаются и черти. Если все хорошее исходило от Жоффра, Фоша, Вильсона или Рузвельта, то все зло исходило от кайзера Вильгельма II, Ленина и Троцкого. Они обладали такой же грандиозной силой и использовали ее во имя зла, как могущественные герои, что использовали свою силу во имя добра. И многие простодушные и запуганные люди любую политическую неудачу, забастовку, любую помеху, таинственную смерть, таинственный пожар приписывали этим закрепленным за конкретными лицами источникам зла.

Столь масштабное, на мировом уровне, внимание к символической личности встречается довольно редко и не может трактоваться однозначно, к тому же каждый автор питает слабость к какому-то одному яркому и неопровержимому примеру. Такие примеры выявляет подробное изучение войны. Когда общество живет более-менее нормальной жизнью, символические образы тоже управляют поведением, тем не менее каждый символ обычно находит своего почитателя, он не направлен на всех, поскольку у него есть конкуренты. Мало того, что он вызывает меньший эмоциональный посыл, поскольку представляет в лучшем случае только часть населения, но и внутри этой части людей присутствуют индивидуальные различия. В относительно безопасное, спокойное время эти символы общественного мнения измеряют и сравнивают. Они появляются и исчезают, сливаются в единое целое и уходят в небытие, так и не обобщив полноценно эмоции всей группы. Всплеск активности, побуждающий целые народы на создание священных союзов, происходит в разгар войны, когда страх, желание подраться и ненависть, обеспечив полное господство духа, либо подавляют всякий другой инстинкт, либо пользуются им себе во благо, пока люди не будут полностью обессилены.

В другие времена, даже в процессе неактивных военных действий, чтобы пройти весь путь от выбора и сомнений к компромиссу, требуется больший диапазон чувств. В пятой главе мы увидим, что символизму общественного мнения обычно присущи следы некоторого баланса интересов. Вспомните, например, сколь быстро после заключения мира исчез шаткий и совершенно неудачно выбранный символ союзного единства, как почти тотчас же последовал крах символического представления о входящих в это единство нациях: Британия защищает международное право, Франция стоит на страже свободы, Америка выступает крестоносцем. Вспомните затем о том, как внутри каждой нации посыпалась ее символическая картинка, когда под воздействием партийных и классовых конфликтов, а также личных амбиций, забурлили отложенные проблемы. Как сменялись символические образы лидеров, когда один за другим Вильсон, Клемансо, Ллойд Джордж перестали воплощать человеческую надежду и превратились в глазах разочарованного мира в простых членов делегации, в чиновников.

При этом не имеет значения, сожалеем ли мы о происходящем, понимая, что это не худшее из всех зол, или приветствуем такое возвращение к здравому смыслу. Когда имеешь дело с вымыслом и символами, следует забыть об их значимости для существующего общественного

<sup>8</sup> *Pierrefeu, Jean de G. Q. G. Trois ans au Grand Quartier General*, pp. 94–95.

устройства, их следует считать просто важной частью механизма человеческого общения. В наши дни в любом обществе, которое не полностью замкнуто на своих интересах и не настолько мало, что любой его член может узнать все обо всем происходящем, мнения должны формироваться вокруг событий, которые нельзя наблюдать и которые сложны для понимания.

Мисс Шервин из городка Гофер-Прери<sup>9</sup> знает, что во Франции свирепствует война, и пытается как-то это осмыслить. Во Франции она никогда не была и уж точно никогда не приближалась к тому месту, где проходит линия фронта. Фотографии французских и немецких солдат мисс Шервин видела, но ей сложно себе представить три миллиона человек. На самом деле три миллиона человек никто не в силах представить, а профессионалы даже не пытаются. Последние думают о них в военных терминах, представляя, скажем, две сотни дивизий. Но у мисс Шервин нет доступа к оперативным картам, и поэтому, думая о войне, она вцепляется в образы Жоффра и кайзера, словно те сражаются на дуэли один на один. Не исключено, что, проникнув в ее сознание, мы увидели бы образ, который мало отличается от изображения великого полководца на гравюре восемнадцатого века. Тот доблестно высится (больше размером, чем в натуральную величину), излучая невозмутимость, а позади него – армия, крошечные фигурки на фоне окружающего пейзажа.

Непохоже, что великие мира сего забывают о подобных ожиданиях. Вот как де Пьерфе повествует о визите фотографа к Жоффру. Генерал находился в своем «довольно скромном кабинете за пустым, освобожденным от бумаг рабочим столом, куда присел, чтобы поставить подпись. Вдруг заметили, что на стенах нет ни одной карты. И так как генерала без карт представить себе совершенно невозможно, пришлось водрузить пару-тройку ради хорошего снимка и убрать сразу после съемки»<sup>10</sup>.

Единственное чувство, которое может возникнуть у человека по поводу события, которому он сам не был свидетелем, – это чувство, вызванное мысленным образом этого события. Поэтому, пока мы не установим, что известно свидетелю, нельзя в полной мере понять его поступки. Я был знаком с одной девушкой, выросшей в шахтерском городке в Пенсильвании, которая, увидев, что порывом ветра разбило окно на кухне, погрузилась в пучину горя. Несколько часов она была безутешна, и я пребывал в полной растерянности. Но когда она смогла заговорить, выяснилось, что разбитое оконное стекло означает смерть близкого родственника. Соответственно, она скорбела о своем отце, из-за страха перед которым сбежала из дома. Отец, естественно, оказался вполне себе жив и здоров, что вскоре и подтвердил телеграфный запрос. А пока телеграмма не пришла, расколовшееся стекло выступало для этой девушки правдоподобным сообщением. Хотя почему оно считалось правдоподобным, видимо, мог сказать лишь опытный психиатр после длительного изучения вопроса. Но даже стороннему наблюдателю было ясно, что девушка, сильно переживая из-за семейных неурядиц, навывдумывала себе небылиц, опираясь на какую-то внешнюю случайность, всплывшее в памяти суеверие, и все это из-за сумятицы в мыслях и угрызений совести, из-за страха перед отцом и любви к нему.

Что считать в таких случаях аномалией – вопрос лишь степени отклонения. Когда генеральный прокурор, напуганный разорвавшейся на его пороге бомбой, убеждает себя, что революция точно произойдет 1 мая 1920 года, мы понимаем: задействован примерно тот же механизм. Конечно, большим количеством примеров для этой модели поведения нас снабдила война: случайный факт, живое воображение, желание верить – из этих трех элементов вырастала фальшивая реальность, на которую впоследствии шла бурная инстинктивная реакция. Предельно ясно, что в определенных условиях люди реагируют на вымысел так же сильно, как и на реальную действительность. Во многих случаях они сами помогают ее создавать, а потом

<sup>9</sup> См.: Синклер, Л. Главная улица, 1920.

<sup>10</sup> См.: Синклер, Л. Главная улица, с. 99 (1920).

сами на нее и реагируют. И пусть в меня бросит камень тот, кто не посчитал, что русская армия в августе 1914 года пересекла Англию, кто не поверил ни одной байке о кровавых злодеяниях, не имея на то прямых доказательств, и кто ни разу не видел заговора, предателя или шпиона там, где их на самом деле не было. Пусть бросит камень тот, кто никогда не выдавал за объективную, но скрытую от общественности правду то, что он слышал от кого-то на деле столь же неосведомленного.

Во всех подобных случаях следует особо выделить один общий фактор: между человеком и средой образуется определенная вставка – псевдосреда. На эту псевдосреду и реагирует человек своим поведением. Однако последствия его поведения, если это какие-то действия, проистекают не в псевдосреде, в которой стимулируется подобное поведение, а в реальной среде, где у каждого действия есть результат. Если поведение представляет собой не настоящее действие, а то, что можно грубо обозначить как мысли и эмоции, то хоть сколь либо заметный разрыв в ткани вымышленного мира произойдет далеко не сразу, на это потребуется время. Когда же псевдофакт стимулирует реальное действие, противоречия вскрываются довольно быстро. Затем приходит чувство, что ты бьешься головой о каменную стену, что учишься на собственном опыте и становишься свидетелем трагедии Герберта Спенсера, когда жестокие факты убивают прекрасную теорию. На уровне общественной жизни то, что называется адаптацией человека к среде, происходит именно посредством вымысла.

Под вымыслом я не подразумеваю ложь. Я имею в виду представление об окружающей среде, которое в большей или меньшей степени создается самим человеком. Диапазон вымысла простирается от полноценной галлюцинации до совершенно сознательного использования ученым схематической модели, учитывая, что для конкретной задачи точность за пределами определенного числа знаков после запятой не важна. Например, художественное произведение, которое является вымыслом, может иметь почти любую степень достоверности, и пока мы ее принимаем во внимание, произведение нас не обманывает. На самом деле человеческая культура в значительной степени представляет собой обнаружение и отбор моделей и стилизацию того, что Уильям Джеймс называл «случайными отзвуками и перераспределением наших идей»<sup>11</sup>. Альтернативой вымыслу является прямое воздействие приливов и отливов чувственного восприятия. Но такая альтернатива – ненастоящая, ведь хотя и полезно порой взглянуть на проблему совершенно чистым и невинным взглядом, невинность, сама по себе, не является мудростью; она лишь выступает для мудрости источником и способом ее корректировки. Настоящая среда в принципе слишком велика, слишком сложна и слишком мимолетна, чтобы ее можно было узнавать непосредственно. Нам не дано иметь дело с такой тонкой и разнообразной материей, с таким множеством сочетаний и перестановок. И поскольку мы живем в этой среде, чтобы справиться с ней, приходится ее воспроизводить в более простой модели. Чтобы путешествовать по миру, людям нужны карты; проблема заключается в том, чтобы раздобыть такие карты, на которых в береговой линии Богемии не отражено желание самих людей (или чье-то еще).

Поэтому исследователь общественного мнения должен для начала признать наличие связей в треугольнике, углы которого представляют собой место действия, человеческое о нем представление и человеческую реакцию на представление о том, что происходит на месте действия. Это похоже на пьесу, предложенную актерам их собственным опытом, в которой действие разворачивается в реальной жизни, а не только на сцене. Довольно мастерски такой двойной конфликт внутреннего мотива и внешнего поведения подчеркивается в кино. Двое мужчин ссорятся, формально из-за денег, но с необъяснимым накалом страстей. Затем картинка затемняется и показывают то, что один из них представляет у себя в голове. За столом они ссорились

<sup>11</sup> James, W. Principles of Psychology, Vol. II, p. 638

из-за денег. А в голове они снова молоды, и одного из них бросает девушка – естественно, ради второго. Внешний конфликт предельно ясен: герой вовсе не жадный, герой влюблен.

Примерно такая сцена разыгралась в сенате США. Утром 29 сентября 1919 года за завтраком кто-то из сенаторов прочитал сообщение в «The Washington Post» о высадке американских морских пехотинцев на побережье Далмации. Газета сообщила:

## ФАКТЫ И ТОЛЬКО ФАКТЫ

*«Установлены следующие важные факты. Приказы контр-адмиралу Эндрюсу, командующему американскими военно-морскими силами в Адриатике, поступили от британского адмиралтейства через Военный совет и контр-адмирала Кнаппа в Лондоне. У министерства ВМС США подтверждения не запрашивали...»*

## ДЭНИЭЛСА НЕ ПОСТАВИЛИ В ИЗВЕСТНОСТЬ

*«Нельзя не признать, что мистер Дэниэлс оказался в специфическом положении, когда дошли телеграммы, в которых сообщалось, что силы, которые должны были находиться под его непосредственным контролем, ведут без его ведома самые настоящие боевые действия. Стало ясно как день, что британское адмиралтейство может отдать приказ контр-адмиралу Эндрюсу действовать от имени Великобритании и ее союзников, поскольку ситуация потребовала жертв ради сдерживания сторонников д'Аннуцио».*

*«А еще стало понятно, что в соответствии с планом новой Лиги Наций иностранцы будут иметь возможность руководить американскими военно-морскими силами в чрезвычайных ситуациях с согласия министерства ВМС США или без оногo...» и т. д. (курсив мой. – У.Л.).*

Первым сенатором, предоставившим комментарий, становится мистер Нокс из Пенсильвании. Он с негодованием требует провести расследование. У мистера Брандеги из Коннектикута, который выступил следом, негодование спровоцировало доверчивость. Тогда как мистер Нокс, возмущаясь, желает выяснить, настоящий ли этот доклад, мистер Брандеги всего тридцать секунд спустя интересуется, что произошло бы, если бы морских пехотинцев убили. Мистер Нокс, переключившись на этот вопрос, забывает о своем требовании провести расследование, и отвечает: если бы погибли американские морские пехотинцы, началась бы война. Настрой полемики пока не ясен. Дебаты продолжаются. Мистер Маккормик из Иллинойса напоминает сенату, что администрация Вильсона имеет склонность развязывать мелкие несанкционированные войны, и повторяет шутку Теодора Рузвельта о «борьбе за мир». И снова дебаты. Мистер Брандеги замечает, что пехотинцы действовали «по приказу какого-то Верховного Совета», но он не припомнит, кто представляет в названном органе США. Этот Верховный Совет не прописан в Конституции США. Поэтому мистер Нью из Индианы предлагает принять резолюцию с требованием установить факты.

Сенаторы хотя и туманно, но осознают, что обсуждают слухи. Будучи юристами, они еще помнят, что слова должны быть подкреплены доказательствами. Однако, люди активные, они уже полны негодования по поводу того факта (и это вполне оправданно), что американских морских пехотинцев отправило на войну какое-то иностранное правительство, притом без согласия Конгресса. Эмоционально они хотят в это верить, поскольку они – республиканцы, противодействующие Лиге Наций. Что распаляет лидера демократов, мистера Хичкока из Небраски. Он защищает Верховный Совет: тот действовал на основании чрезвычайных пол-

номочий, обусловленных войной. Мир до сих пор не заключен, поскольку его оттягивают республиканцы. Поэтому предпринятые действия необходимы и законны.

Теперь уже обе стороны полагают, что отчет правдив, а выводы, к которым они приходят, основаны на их приверженности партии. При этом столь экстраординарное предположение дискутируется в рамках принятия резолюции по установлению истинности самого предположения. Ситуация вскрывает, что даже квалифицированные юристы втягиваются в конфликт, не дождавшись официальных отчетов. Они выдают реакцию моментально. Вымысел принимается за правду, поскольку вымысел крайне необходим.

Спустя пару дней из официального отчета выяснилось, что морские пехотинцы никуда не высаживались ни по приказу британского правительства, ни по приказу Верховного Совета. Они не сражались с итальянцами. Они прибыли по просьбе итальянского правительства для защиты итальянцев, а итальянские власти официально поблагодарили американского командующего. Морская пехота не вступала в конфронтацию с Италией, а действовала в соответствии с установившейся международной практикой. И Лига Наций ни при чем.

Местом действия здесь выступила Адриатика. Картинку происходящего в головах сенаторов создал (в данном случае, скорее всего, с целью ввести в заблуждение) человек, которого заботила вовсе не Адриатика, его интересовало поражение Лиги. Реакцией на эту картинку стало еще большее усиление партийных разногласий по поводу Лиги.

Сейчас не столь важно, всегда так работает сенат или этот случай был исключением. Нет смысла сравнивать сенат с палатой представителей и с другими парламентами. В данный момент я хотел бы поразмышлять лишь о разворачивающемся во всем мире спектакле, в котором люди воздействуют на окружающую среду, движимые стимулами из своей псевдосреды. Ведь когда полностью признано умышленное мошенничество, политическая наука все же должна объяснить, почему каждая из двух воюющих наций убеждена, что действует в целях самообороны, и почему представители двух враждующих классов убеждены, что именно их класс выражает общие интересы. Они живут, можно сказать, в разных мирах. Точнее, живут-то они в одном, но думают и чувствуют в разных.

Именно к этим особым мирам, именно к этим частным или групповым, классовым, провинциальным, профессиональным, национальным или конфессиональным артефактам и адаптируется политическое человечество в «великом обществе»<sup>12</sup>. Все их многообразие и сложность не поддается описанию. Тем не менее эти вымыслы в значительной степени определяют политическое поведение людей. Следует, вероятно, задуматься о пятидесяти независимых парламентах, состоящих по крайней мере из ста законодательных органов. К ним присоедините не менее пятидесяти иерархически выстроенных региональных и городских собраний, которые вместе со своими исполнительными, административными и законодательными органами и представляют на земле формальную власть. Причем сложность и мудреность политической жизни этим не ограничивается. Ведь в каждом из бесконечных центров власти есть партии, а в каждой из партий тоже есть иерархия, разветвляющаяся на классы, секции, группировки и кланы. И внутри каждой такой ячейки находятся конкретные люди, политические деятели, каждый из которых плетет вокруг себя сеть из связей и воспоминаний, страха и надежды.

Так или иначе, часто по заведомо невразумительным причинам, в результате перевеса власти, компромисса или голосования по договоренности из этих политических органов вырастают команды, которые бросают на передовую войска или заключают мир, призывают воевать, облагают налогом, высылают из страны, сажают в тюрьму, защищают собственность или ее конфискуют, поощряют один вид деятельности и ставят преграды другому, содействуют иммиграции или ей мешают, повышают качество коммуникации или подвергают все цензуре, учреждают учебные заведения, создают флот, торжественно провозглашают «политический

<sup>12</sup> Программа президента Л. Джонсона с целью построения общества, в котором не будет бедности. – *Примеч. пер.*

курс», воздвигают экономические барьеры, провозглашают право собственности или его аннулируют, подводят один народ под власть другого или отдают предпочтение одному классу по отношению к другому. Для любого из перечисленных решений в качестве доказательства принимается определенное мнение относительно фактов, определенный ракурс, под которым рассматриваются данные обстоятельства. Но какой это ракурс, чье это мнение, почему именно оно?

И даже таким пониманием политической структуры не исчерпывается ее реальная сложность. Формально она существует в социальной среде, где есть бесчисленное множество крупных и мелких корпораций и институтов, национальных, региональных, городских и пригородных структур, которые зачастую принимают решение, регистрируемое впоследствии политическим органом. На чем основаны такие решения?

«Современное общество, – говорит мистер Честертон, – по своей природе небезопасно, поскольку основано на представлении, что все люди будут делать одно, имея для своего действия разные причины... Как в голове преступника может гореть адский огонь за какое-то единичное преступление, так и в доме или под шляпой пригородного клерка может скрываться чистилище, где правит совершенно иная философия. Первый человек может быть законченным материалистом и ощущать собственное тело как ужасную машину, производящую мысли. Человек по соседству может оказаться последователем учения „Христианская наука“ и полагать, что тело менее материально, чем собственная тень. Он даже может считать собственные руки и ноги наваждением, подобно движущимся змеям в горячечном бреде. Третий человек на этой улице может придерживаться не учения „Христианская наука“, а наоборот, быть истинным христианином; вероятно, как сказали бы его соседи, он живет словно в сказке: в загадочной, но убедительной сказке, в которой полным-полно как образов неземных друзей, так и их непосредственного присутствия. Четвертый человек может оказаться теософом и вегетарианцем. А пятый человек – почему бы здесь не потешить свою фантазию, – пусть поклоняется дьяволу... Неважно, имеет ли ценность такое разнообразие; понятно, что такое единство шатко. Вряд ли стоит полагать, что все люди будут постоянно думать по-разному, но делать одно и то же. Общество закладывается не на сходстве и даже не на соглашении, а скорее на стечении обстоятельств. Четверо людей могут встретиться под одним фонарным столбом: один, чтобы покрасить тот в ярко-зеленый, выполняя задание в рамках крупной муниципальной реформы; второй, чтобы в свете фонаря почитать требник; третий, чтобы в запале алкогольного угара страстно обнять этот фонарный столб; а последний лишь потому, что ярко-зеленый столб – весьма приметное местечко для randevu с дамой сердца. Но ожидать, что так будет всегда, ночь за ночью, неразумно...»<sup>13</sup>.

А ведь эти четверо у фонарного столба – эквиваленты систем правительств, партий, корпораций, обществ, социальных групп, ремесел и профессий, университетов, сект и национальностей этого мира. Подумайте о законотворце, голосующем за норму, которая затронет даже самые отдаленные народы; о политике, принимающем какое-то решение. Представьте конференцию по проблемам мира, на которой переделывают границы Европы; посла в чужой стране, пытающегося разгадать намерения и своего правительства, и иностранного; бизнесмена, получающего лицензию в какой-то отсталой стране; требующего войны редактора; священника, который звонит в полицию, чтобы те урезонили загулявших весельчаков. Представьте завсегдатаев клуба, которые решают бастовать, или членов швейного кружка, которые хотят реорганизовать работу школ. Вспомните о судьях, размышляющих, вправе ли законодатели Орегона устанавливать часы работы для женщин; о заседании кабинета министров, которые должны принять решение о признании правительства; о партийном съезде, выбирающем кандидата и создающем свою политическую платформу; о двадцати семи миллионах избирателей, опус-

<sup>13</sup> Chesterton, G. K. The Mad Hatter and the Sane Householder / Vanity Fair, 1921, January, p. 54.

кающих свои бюллетени в ящик для голосования; об ирландце из Корке, который думает об ирландце из Белфаста; о Третьем Интернационале, планирующем перестроить все человеческое общество; о совете директоров, который столкнулся с требованиями сотрудников; о мальчике, выбирающем жизненный путь; о торговце, который пытается оценить спрос и предложение на предстоящий сезон; о спекулянте, предсказывающем поведение рынка; о банкире, сомневающимся, стоит ли верить новому предприятию; а еще о рекламщике и о читателе этой рекламы... Вспомните, что американцы тоже разные, и у каждого в голове сложились свои представления о понятиях «Британская империя», «Франция», «Россия», «Мексика». Очень похоже на ситуацию, когда четверо стоят у ярко-зеленого фонарного столба.

И прежде, чем погрузиться в туманные джунгли идей о врожденных людских различиях, следует сосредоточить внимание на том, сколь удивительно различны людские знания о мире<sup>14</sup>. Сомнений в том, что важные биологические различия существуют, у меня нет. Поскольку человек – лишь животное, было бы странно, если бы их не было. Однако весьма поверхностно (а посему опасно) выводить обобщения, сравнивая чье-то поведение, пока не обнаружено измеримое сходство между средами, на которые такое поведение является реакцией.

Прагматическая ценность этой идеи состоит в том, что она вносит давно необходимое уточнение в древний спор о природе и воспитании, врожденном качестве и окружающей среде. Ведь псевдосреда – это некий гибрид из «природы человека» и «условий». На мой взгляд, это показывает бесполезность разглагольствований на тему, что есть человек и чем он будет всегда, в отличие от того, что мы видим в его поступках или каковы необходимые условия для общества. Нам неизвестно, как люди повели бы себя в реалиях «великого общества». Зато мы прекрасно знаем, как они ведут себя, реагируя на то, что можно справедливо назвать самой несуразной картинкой «великого общества». На основании таких данных нельзя делать объективных выводов ни о человеке, ни о «великом обществе».

Это и станет зацепкой для нашего исследования. Будем считать, что поступки человека основаны не на непосредственном и достоверном знании, а на картинках, нарисованных самостоятельно или навязанных извне. Если его атлас свидетельствует, что мир плоский, то из-за страха упасть он и близко не подплывет туда, где, по его мнению, находится край планеты. Если на его картах изображен источник вечной молодости, очередной Понсе де Леон точно отправится его искать. Если кто-то выкопает нечто похожее на золото, то какое-то время будет вести себя так, словно он и правда нашел золото. Представление о мире в каждый конкретный момент определяет то, что будут делать люди. При этом оно не определяет, чего они добьются. Оно определяет человеческие усилия, чувства, надежды, но не достижения и результаты. На что больше всего надеются марксисты-коммунисты, те самые люди, которые громче всех трубят о своем «материализме» и презрению к «идеологам»? На формирование группы людей, обладающих классовым сознанием, путем пропаганды. А что есть пропаганда, если не попытка преобразовать картинку, на которую реагируют люди, заменить одну общественную модель другой? Что такое классовое сознание, как не способ понимания мира? Национальное самосознание, просто с другой стороны? А родовое сознание профессора Гиддингса это всего лишь вера в то, что мы распознаем среди массы людей тех, кто отмечен как наш род?

Попробуйте объяснить жизнь в обществе через стремление к удовольствию и избегание боли. Вы довольно скоро начнете говорить, что гедонист уклоняется от сути дела, ведь даже если предположить, что человек действительно стремится к этим целям, остается нетронутой ключевая проблема: почему человек считает, что к удовольствию приведет именно этот образ действий, а не какой-то иной? Объясняет ли этот выбор человеческая совесть? Как у человека выработалась эта особая совесть? Благодаря теории личного экономического интереса? Но каким образом люди начинают воспринимать свои интересы именно так, а не иначе? Этому

<sup>14</sup> См.: Wallas, G. Our Social Heritage, pp. 77 и далее.



способствует желание безопасности, а может, престижа или господства, или того, что зовется туманным словом «самореализация»? Как люди воспринимают свою безопасность, что считают престижем, как вычисляют средства, коими можно заполучить господство, и как они себе представляют эту «самость», которой жаждут найти реализацию? Удовольствие, боль, совесть, обретение, защита, совершенствование, мастерство – так называются дороги, по которым идут люди. Возможно, на достижение этих целей работают подсознательные склонности. Но ни декларация цели, ни описание стремления ее достичь не могут объяснить того поведения, которое в результате демонстрирует человек. Сам факт того, что люди строят теории, является доказательством того, что их псевдосреда, их внутренние представления о мире являются определяющим элементом в мыслях, чувствах и действиях. Поскольку если бы связь между реальностью и человеческой реакцией на нее была непосредственной и мгновенной, а не косвенной и прогностической, мы не познали бы сомнение и неудачу, а (если бы каждый из нас так же уютно вписывался в этот мир, как ребенок в утробу) Бернард Шоу не смог бы сказать, что лишь в первые девять месяцев существования люди справляются со своими делами лучше растений.

Здесь и возникает главная трудность: как использовать систему психоанализа для политической мысли. Фрейдистов заботит неприспособленность отдельных индивидуумов к другим индивидуумам и к конкретным обстоятельствам. Они предположили, что если бы можно было вылечить душевные расстройства, то исчезла бы путаница в понимании. Но общественное мнение имеет дело с фактами косвенными, неявными и малопонятными, очевидностью там и не пахнет. Ситуации, на которые ссылается общественное мнение, известны лишь как мнения. При этом психоаналитик почти всегда исходит из того, что окружающая среда познаваема, а если и непознаваема, то, по крайней мере, допустима для любого незамутненного разума. Такое предположение – проблема для общественного мнения. Вместо того, чтобы принимать за данность среду, которая уже известна, социального аналитика больше всего интересует изучение того, как осмысливается более значимая политическая среда и как это можно сделать лучше. Психоаналитик исследует адаптацию к понятию X, которое он называет средой, а социальный аналитик исследует понятие X, которое он называет псевдосредой.

Социальный аналитик окончательно и бесповоротно в долгу перед новыми направлениями в психологии, причем не только потому, что при правильном применении они великолепно помогают людям при любых обстоятельствах быть независимыми, но и потому, что изучение сновидений, фантазий и рациональных объяснений пролило свет на то, как устроена псевдосреда. Однако предполагать он не умеет, поскольку выбирает в качестве критерия либо то, что называется «нормальной биологической карьерой»<sup>15</sup> в рамках существующего общественного строя, либо карьеру, «свободную от религиозного давления и догматических условностей» извне<sup>16</sup>. Что означает для социолога нормальная социальная карьера? А человек, свободный от давления и условностей? Критики консервативного толка, разумеется, исходят из первой мысли, а романтически настроенные – из второй. В результате они принимают без обсуждения и доказательств целый мир. И фактически говорят, что общество – это то, что либо соответствует их представлению о норме, либо то, что соответствует их представлению о свободе. Обе идеи всего лишь общественные мнения, и хотя психоаналитик как врач, наверное, может их допускать, социолог не вправе рассматривать результаты существующего общественного мнения в качестве критериев для изучения общественного мнения.

До мира, с которым нам приходится иметь дело с точки зрения политики, нельзя дотянуться, его нельзя увидеть и сложно познать. Его приходится изучать, описывать и представлять в голове. Человек – не аристотелевский бог, созерцающий все сущее одним взглядом.

<sup>15</sup> Kempf, E. J. Psychopathology, p. 116.

<sup>16</sup> Ibid. p. 151.

Он – результат эволюции, существо, способное охватить лишь часть реальности, достаточную, чтобы суметь выжить, и урвать себе немного озарения и счастья, самую толику, которая на шкале времени оказывается парой мгновений. И это же самое существо изобрело способы видеть то, что нельзя увидеть невооруженным взглядом, слышать то, что не в состоянии услышать ухо, измерять как огромные, так и бесконечно малые массы, считать и раскладывать больше предметов, чем можно запомнить. Он учится понимать умом гигантские части мира, которые он никогда не смог бы ни увидеть, ни потрогать, ни понюхать, ни услышать, ни удержать в памяти. Шаг за шагом он создает у себя в голове достоверную картину недоступного для него мира.

Те характеристики внешнего мира, которые имеют отношение к поведению других людей, поскольку их поведение пересекается с нашим, от нас зависит или представляет для нас интерес, мы называем общественными делами. Картинки в головах людей, то, как они рисуют самих себя, других людей, их потребности, цели и взаимоотношения, составляют общественные мнения, мнения членов общества. Зато те картинки, на которые оказали влияние группы людей или отдельные лица, действующие от имени групп, являются Общественным Мнением с большой буквы. Поэтому в последующих главах мы для начала выясним кое-какие причины, позволяющие внутренней картинке так часто вводить людей в заблуждение в отношениях с миром внешним. Во-первых, рассмотрим главные факторы, ограничивающие доступ людей к фактам. Это умышленная цензура, ограниченные социальные контакты, относительно небольшой промежуток времени, когда человек может уделять внимание общественным делам, искажения, возникающие поскольку события нужно уложить в очень короткие сообщения, проблема выразить сложный мир при помощи скудного словарного запаса и, в конце концов, страх столкнуться лицом к лицу с фактами, потенциально угрожающими заведенной рутине.

От анализа более или менее внешних ограничений перейдем к вопросу о том, как на слабую струйку данных, получаемых извне, влияют накопленные образы, сформированные ранее мнения и предрассудки, с помощью которых эти данные интерпретируются, дополняются и которые, в свою очередь, настраивают фокус нашего внимания и само наше зрение. Затем приступим к рассмотрению, как ограниченные данные извне, сформированные в шаблон из стереотипов, отождествляются у отдельного человека с личными (в его восприятии и понимании) интересами. И, наконец, исследуем процесс оформления мнений в то, что именуется Общественным Мнением, как появляется воля нации, мнение группы, общественная цель – название неважно.

Первые пять частей книги носят описательный характер. В дальнейшем приводится анализ традиционной демократической теории общественного мнения. Суть доводов заключается в том, что демократия в ее первоначальном виде никогда серьезно не сталкивалась с проблемой, которая возникает, поскольку картинки в головах людей не соответствуют по умолчанию внешнему миру. А затем, поскольку демократическую теорию критикуют философы-социалисты, мы разберем наиболее глубокие и логичные из претензий, выдвинутых гильдейскими социалистами Англии. Я ставлю задачу выяснить, учитывают ли эти реформаторы основные трудности общественного мнения. И прихожу к выводу, что – как и ранние демократы – они эти трудности игнорируют, поскольку также предполагают загадочное наличие в сердцах людей знания о недостижимом для них мире.

Я настаиваю, что представительное руководство, неважно, в политике (в ее обычном понимании) или в компании, не может успешно работать, вне зависимости от того, как его избрали, если нет рядом независимой экспертной организации, которая разбирает и объясняет неявные факты для тех, кто должен принимать решения. Соответственно, я пытаюсь обосновать, что серьезное принятие принципа, согласно которому личная картинка должна дополняться трактовкой неявных фактов, само по себе дало бы возможность адекватной децентрализации и позволило бы выйти за пределы той непригодной и несостоятельной выдумки, которую

все мы должны принимать в качестве авторитетного мнения. Существует мнение, что с прессой все очень запутано, поскольку и оппоненты, и защитники ждут, что пресса этот вымысел вскроет, восполнит все то, что не было предусмотрено теорией демократии; причем читатели уверены, что это чудо свершится без каких-либо затрат или трудностей с их стороны. Демократы считают газеты чудесным снадобьем, лечащим их собственные пороки. Однако анализ природы новостей и экономической основы журналистики показывает, что газеты неизбежно и неминуемо отражают – а потому в большей или меньшей мере усиливают – несовершенство организации общественного мнения. На мой взгляд, пресса должна стать выразителем общественного мнения вместо того, чтобы навязывать ему точку зрения извне, как это происходит сегодня. Мне представляется, что такое устройство – задача, которую в первую очередь должна решать политическая наука, поскольку она уже доказала, что умеет формулировать мнение до принятия решения, в отличие от защитника, критика или журналиста, которые формулируют мнение после. Я пытаюсь обозначить, что та растерянность, какую испытывает и правительство, и компании, играет на руку политической науке, дает ей возможность обогатиться и послужить обществу. А еще я, конечно, надеюсь, что страницы этой книги помогут ярче обрисовать себе эту возможность и, следовательно, более осознанно ее использовать.

## Часть 2

### Подходы к внешнему миру

#### 2. Цензура и частная жизнь

Картина, когда какой-то генерал председательствует на совещании редакторов, а в этот страшнейший час разворачивается одно из величайших сражений в истории, больше похожа на сцену из «Шоколадного солдата»<sup>17</sup>, чем на страницу из реальной жизни. Тем не менее, нам из первых рук – а именно от офицера, который редактировал французские сводки, – известно, что подобные совещания традиционно считались военным делом, и что в худший момент битвы при Вердене генерал Жоффри встречался со своим штабом, и они спорили о существительных, прилагательных и глаголах, которые следующим утром должны были появиться в газетах.

«Вечерняя сводка от двадцать третьего (февраль 1916 г.), – говорит де Пьерфе<sup>18</sup>, – редактировалась в напряженной обстановке. Генерал Бертло (из канцелярии премьер-министра) только что позвонил по приказу министра и попросил генерала Пелле усилить новость, подчеркнуть масштабы нападения противника. Нужно было подготовить общественность к худшему исходу в случае, если дело обернется катастрофой. Такая обеспокоенность ясно демонстрировала, что ни центральный штаб, ни военное министерство не смогли убедить правительство в том, что все идет хорошо. Бертло говорил, генерал Пелле все записывал. Затем он передал мне бумагу с рекомендациями правительства, а еще приказ немецкого генерала фон Даймлинга, обнаруженный у некоторых пленных, который гласил, что этот штурм – величайшая наступательная операция, призванная обеспечить мир. В грамотных руках материал должен был стать свидетельством того, что Германия предпринимает гигантское усилие, усилие небывалое, и в результате надеется на окончание войны. Логика заключалась в следующем: отступление не должно никого удивить. Когда спустя полчаса я спустился с подготовленным текстом вниз, то обнаружил, что в кабинете отсутствовавшего на тот момент полковника Анри Клоделя собрались генерал-майор Морис Жанен, полковник Дюпон и подполковник Жан Шарль Ренуар. Опасаясь, что мне не удастся произвести требуемого впечатления, генерал Пелле сам подготовил предварительную сводку. Я зачитал, что получилось у меня. Мой текст показался слишком нейтральным, текст генерала Пелле, напротив, слишком тревожным. Я специально упустил из вида приказ фон Даймлинга. Если бы я его вставил, то неизбежно *нарушил бы привычный для общественности стереотип*, превратив новость в нечто похожее на мольбу. Она бы читалась так: „А как, по-вашему, тут можно сопротивляться?“ Я боялся, что людей собьет с толку такое изменение общего тона, и они поверят, что все пропало. Я привел свои доводы и предложил напечатать текст фон Даймлинга в газетах в виде отдельной заметки.

Мнения разделились, и генерал Пелле отправился за генералом де Кастельно, чтобы тот принял окончательное решение. Пришел генерал, улыбчивый, скромный, с хорошим чувством юмора, сказал несколько приятных слов о новом литературно-военном совете и просмотрел тексты. Он выбрал вариант попроще, придал больший вес первой фразе, вставив фразу „как и ожидалось“, которая несет обнадеживающий характер, и выступил категорически против включения приказа фон Даймлинга, но за то, чтобы передать его журналистам отдельной заметкой...».

---

<sup>17</sup> Комедия Б. Шоу «Оружие и человек» (Arms and the Man), которую часто ставили под названием «Шоколадный солдатик» (Chocolate Cream Soldier). – *Примеч. пер.*

<sup>18</sup> *Pierrefe, J. de. G.Q.G. Trois ans au grand quartier general par le redacteur du communique*, pp. 126–129.

В тот вечер генерал Жоффри, внимательно прочитав сводку, ее одобрил.

Через пару часов эти две-три сотни слов прочитают во всем мире. В результате в сознании людей нарисуеться картина того, что происходило на склонах Вердена, и эта картина либо воодушевит людей, либо накроет лавиной отчаяния. И владелец магазинчика в Бресте, и крестьянин в Лотарингии, и депутат в Бурбонском дворце, и редактор в Амстердаме или Миннеаполисе должен продолжать надеяться – и в то же время быть готовым без паники принять возможное поражение. Поэтому сообщалось, что потеря территории не является неожиданностью для французского командования. Людям вкладывали в голову, что ситуация опасная, но не из рук вон. На самом деле французский генштаб не в полной мере был готов к немецкому наступлению. Не были вырыты вспомогательные траншеи, не проложены альтернативные дороги, не хватало колючей проволоки. Однако признание такой ситуации родило бы в головах мирных жителей образы, которые вполне могли из неудачи сделать катастрофу. Верховное командование, возможно, и было разочаровано, но все же взяло себя в руки. Наблюдая за схваткой разного рода фракций, обсуждающих компетенции офицеров, находящиеся в своей стране и за границей люди, полные неуверенности и лишённые того единства цели, которое присуще профессионалу, могли бы, погрузившись во все детали, упустить из виду саму войну. Поэтому вместо того, чтобы позволить людям действовать, исходя из всех известных генералам фактов, власти предоставили лишь некоторые из них, причем только в том ракурсе, который наиболее вероятно мог успокоить народ.

В этом случае люди, создавшие псевдосреду, знали, какова настоящая. Но через пару дней произошел инцидент, о котором французские военные не знали правды. Немцы объявили<sup>19</sup>, что накануне днем они штурмом взяли форт Дуомон. Во французском штабе в Шантильи никто ничего не мог понять. Еще утром 25-го, после вступления в бой двадцатого корпуса, ситуация на поле боя изменилась к лучшему, и в донесениях с фронта о Дуомоне не было ни слова. На проверку немецкое сообщение оказалось правдой, хотя никто на тот момент не знал, как именно взяли форт. Тем временем немецкая сводка замелькала по всему миру, и французам нужно было как-то отреагировать. В штабе объяснили произошедшее так: «На фоне полного неведения здесь, в Шантильи, о том, как именно произошло нападение, в вечерней сводке от 26-го был представлен его план, достоверность которого, вероятно, тысяча к одному».

В сводке об этой воображаемой битве написали так:

«В районе форта Дуомон, являющегося аванпостом старой оборонительной системы Вердена, идет ожесточенная борьба. *После нескольких неуспешных штурмов, стоивших врагу очень тяжелых потерь*, сегодня мы взяли позицию, еще утром занятую противником, который так и не смог отбросить наши войска, и продвинулись дальше»<sup>20</sup>.

В действительности реальное положение дел отличалось и от французской, и от немецкой версии. Пока на передовой сменялись войска, в беспорядочной череде приказов о той позиции просто позабыли, и в форте остался лишь командир батареи и несколько солдат. Заметив открытую дверь, несколько немецких солдат пробрались внутрь и взяли всех в плен. А затем, немного погодя, расположившиеся на склонах холма французы пришли в ужас, поскольку их обстреливали уже из форта. За форт Дуомон не было никакого сражения, не было никаких потерь. Как никуда не продвинулись и французские войска. Конечно, они окружили форт с другой стороны, тем не менее сам форт находился в руках врага.

<sup>19</sup> Это произошло 26 февраля 1916 года. См.: *Pierrefeu J. de*. Указ. соч. С. 133 и далее.

<sup>20</sup> Это мой собственный перевод. Английский перевод из Лондона, опубликованный в «Нью-Йорк Таймс» в воскресенье, 27 февраля, выглядит следующим образом: // Лондон, 26 февраля (1916). Вокруг форта Дуомон, передового элемента старой оборонительной системы Вердена, идет ожесточенная борьба. После пары бесполезных штурмов, принесших врагу исключительно тяжелые потери (во французском тексте читаем «*pertes tres elevees*»/«*весьма значительные потери*»). Получается, английский перевод преувеличивает то, что было написано в начальном тексте), мы взяли сегодня позицию, еще утром занятую противником, и несмотря на все попытки врага отеснить наши войска, продвинулись еще дальше.

Однако из сводки все поняли, что форт наполовину окружен. Прямо, конечно, об этом не говорилось, но «пресса, как обычно, форсировала события». Военные корреспонденты сделали вывод, что немцам вскоре придется сложить оружие. Через несколько дней они стали задаваться вопросом, почему, несмотря на отсутствие провизии, гарнизон еще не сдался. «Пришлось их просить через пресс-бюро не упоминать тему окружения»<sup>21\*</sup>.

Редактор французских сводок рассказывает, что на фоне затянувшегося сражения они с коллегами задались целью подавить дух упорных немцев, регулярно сообщая, что те несут ужасные потери. В то время (а фактически до конца 1917 года) среди союзников принято было считать, что войну можно выиграть измором, и все решат «боевые потери». В активную захватническую войну никто не верил. Все вокруг твердили, что ни стратегия, ни дипломатия не имеют значения. Вопрос был в количестве убитых немцев. И рядовые граждане в эту догму более или менее верили, хотя, при столкновении со впечатляющими успехами Германии, им приходилось постоянно о ней напоминать.

«Почти дня не проходило, чтобы в сводках... не приписали немцам (под видом расплаты) тяжелые потери, чрезвычайно тяжелые, и не рассказали о кровавых жертвах, кучах трупов, массовых убийствах. По радио постоянно передавали статистику бюро военной разведки в Вердене, начальник которого, майор Куанте, изобрел метод подсчета немецких потерь, дававший поразительные результаты. Каждые две недели цифры увеличивались тысяч на сто. Заявлялось общее количество в 300 000, 400 000, 500 000 убитых и раненных, потом цифры делились на ежедневные, еженедельные, ежемесячные потери и, повторяясь на всевозможные лады, производили великолепный эффект. Наши формулировки почти не менялись: „по данным военнопленных, немцы в ходе наступления понесли существенные потери“... „доказано, что потери“... „истощенный потерями враг не смог возобновить наступление“... Некоторые формулировки, от которых позже отказались из-за частого использования, встречались ежедневно: „под нашим артиллерийским и пулеметным огнем“... „уничтожили артиллерийским и пулеметным огнем“... Все это производило впечатление на нейтральные стороны, да и на саму Германию, и помогло создать некий кровавый фон, несмотря на опровержения со стороны немецкого радио „Науэн“, которое тщетно пыталось разрушить дурной эффект от такого бесконечного рефрена»<sup>22</sup>.

Основные мысли французского командования, которые оно хотело публично закрепить такими заявлениями, сформулировали в качестве методического указания для цензоров следующим образом:

«В наступательную операцию вовлечены регулярные силы противника, численность которых сокращается. Нам известно, что призывники 1916 года уже находятся на фронте. Остаются уже призванные в 1917 году и ресурсы третьей очереди (мужчины старше 45 лет и выздоравливающие). Через пару недель истощенная немецкая армия окажется перед лицом всех сил коалиции (десять миллионов против семи)»<sup>23</sup>.

По словам де Пьерфе, французское командование и само в это поверило. «В силу необычайного помутнения рассудка боевые потери и истощение наблюдались только у противника, наши силы словно были этому неподвластны. Такую точку зрения разделял генерал Нивель. Результат мы увидели в 1917 году».

Мы выучили, что это называется пропагандой. Группа людей, которые способны лишить других доступа к событию, излагают новости о случившемся исключительно в соответствии со своими целями. То, что в конкретном случае цель была патриотической, никак не влияет на основную мысль. Эти люди использовали свою власть, чтобы граждане стран-союзников

<sup>21</sup> *Pierrefeu J. de.* Указ. соч., С. 134–135.

<sup>22</sup> Указ. соч., С. 138–139.

<sup>23</sup> Указ. соч., С. 147.

видели боевые действия так, как должны были их видеть. Для этого же предназначались данные о потерях, которые предоставлял майор Куанте и которые распространялись по всему миру. Предполагалось, что они натолкнут людей на нужное умозаключение: война на истощение идет в пользу французов. Но подобное умозаключение выводится не в виде доказательства. Оно почти автоматически рождается на фоне мысленного образа: бесчисленного количества убитых немцев на холмах под Верденом. Учитывая акцент на мертвых немцах и отсутствие упоминания о погибших французах, картина битвы вырисовывалась специфическая. Этой картиной пытались нейтрализовать последствия немецких территориальных захватов и свести на нет впечатление мощи, которое производило их упорное наступление. Такая точка зрения была призвана заставить общественность молча согласиться с деморализующей оборонительной стратегией, навязанной армиям союзников. Общественность, привыкшая к мысли, что война состоит из крупных оперативных передвижений, фланговых атак, окружений и эффектных капитуляций, должна была об этом постепенно позабыть и увериться в ужасной мысли, что война будет выиграна по принципу «у кого убьют меньше». Благодаря тому, что генштаб контролировал все новости с фронта, произошла подмена фактов на представления, которые соответствовали этой стратегии.

В боевой обстановке генеральный штаб размещается таким образом, чтобы широко контролировать то, что прочтает и воспримет публика. Он контролирует подбор отправляющихся на фронт корреспондентов и их передвижения, читает и подвергает цензуре их сообщения, следит за передачей данных с фронта. Правительство, вслед за армией, имея возможность отправить депешу, выдать паспорт, контролировать почту и таможню, налагать запреты, лишь усиливает этот контроль. А также имеет законную власть над издателями, массовыми собраниями и разведкой. Увы, в случае с армией контролировать удастся далеко не все. У противника тоже есть сводки, которые в наши дни беспроводной связи невозможно скрыть от стран, держащих нейтралитет. А еще с фронта доносятся разговоры солдат, а когда те возвращаются, то слухи идут еще дальше<sup>24</sup>. Армия – весьма неповоротливый механизм. Именно поэтому цензура в военно-морских силах и у дипломатов почти всегда совершеннее. Меньше людей знают, что именно происходит, поэтому их действия легче отследить.

Без цензуры (в том или ином виде) пропаганда в строгом смысле этого слова невозможна. Для ее ведения необходима преграда между людьми и конкретным событием. Необходимо ограничить доступ к среде реальной и только потом создавать требуемую псевдосреду. Ведь пока люди, имеющие непосредственный доступ к событию, могут неверно понимать то, что они видят, никто другой не может определиться, как именно следует ошибаться при трактовке этого события, если только не понимает, куда нужно смотреть и на что. Простейший, хотя отнюдь не самый важный, вид такой преграды – военная цензура. Всем известно о ее существовании, поэтому она до определенной степени принимается как должное, на нее попросту не обращают внимания.

В разное время и по разным вопросам одни люди устанавливают определенные уровни секретности, а другие их принимают. Граница между тем, что скрывается, поскольку обнаружение «противоречит общественным интересам», и тем, что скрывается, поскольку это вообще общества не касается, постепенно стирается. В принципе, мы имеем весьма растяжимое представление о том, что является делом личным, частным. Например, информация о размере состояния человека считается частной, и в законе о подоходном налоге аккуратно прописываются положения, чтобы эта информация частной и осталась. То, что продается земельный участок – обычно не тайна, зато таковой может оказаться цена участка. Сведения о заработной плате обычно считаются более закрытыми, в отличие от размера ставки, а сведения о доходе –

<sup>24</sup> За несколько недель до нападения американцев на Сен-Миель и Мез-Аргонского наступления во Франции все друг другу все рассказали, по большому-большому секрету.

более личными, чем данные о наследстве. Кредитный рейтинг человека доступен лишь узкому кругу лиц. Прибыль крупных корпораций чаще находится в открытом доступе, чем прибыль мелких фирм. Не подлежат разглашению некоторые разговоры, например, между мужем и женой, юристом и клиентом, врачом и пациентом, священником и прихожанином. Закрытыми являются, как правило, и встречи директоров. А еще многие политические собрания. То, что обсуждают на заседании кабинета министров или в разговоре посла с госсекретарем, в личных беседах или за обеденным столом, по большей части является секретной информацией. Многие считают, что не подлежат разглашению условия договора между работодателем и работником. Когда-то дела крупных компаний считались столь же конфиденциальными, каким сегодня считается вероисповедание отдельного человека. Хотя еще раньше вероисповедание человека считалось вопросом открытым, наравне с цветом глаз. С другой стороны, инфекционные болезни когда-то скрывались, как и, например, процессы, связанные с пищеварением. История того, что носит «личный характер» и входит в понятие *privacy*, вышла бы весьма занимательной. Иногда представления о личном и общественном сталкиваются очень жестко, как это было, когда большевики опубликовали тайные договоры, или когда мистер Хьюз провел расследование по страховым компаниям, или когда чей-то скандал просачивается со страниц местечковых газет на первые полосы газет Уильяма Рэндольфа Херста.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.